

Ключевые слова: Пушкин, культура, анекдот, миф, мифологема, пушкиноведение.

Сараскина Людмила Ивановна

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник, сектор художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания, Москва
ORCID ID: 0000-0003-4844-4930
l.saraskina@gmail.com

Key words: Pushkin, culture, anecdote, myth, mythologeme, Pushkin studies.

Saraskina Ludmila I.

Doctor of Philology, chief researcher, Mass Media Arts Department, The State Institute for Art Studies, Moscow
ORCID ID: 0000-0003-4844-4930
l.saraskina@gmail.com

САРАСКИНА Л.И.

Пушкинский миф в русской культуре: легенды, анекдоты, клише

В статье анализируется факт превращения имени русского национального поэта А.С. Пушкина в имя нарицательное, используемое в анекдотах, поговорках, присказках. Рассмотрен процесс создания пушкинского мифа русскими критиками и писателями-классиками — В.Г. Белинским, Н.В. Гоголем, А.А. Григорьевым, Ф.М. Достоевским. Литераторы XX столетия, вслед за Д.И. Писаревым, оказались причастны к возникновению пушкинского контрмифа, а также к появлению поэтического феномена «Мой Пушкин». Сюжет статьи о самых громких и избыточных пушкинских юбилеях 1937 и 1999 гг. прочитан в ракурсе возникновения «пушкинофобии» и «банализации» личности и творчества поэта.

SARASKINA LUDMILA I.

The Pushkin Myth in Russian Culture: Legends, Anecdotes, Clichés

The paper analyses the following fact in the history of Russian culture: the name of the Russian national poet A.S. Pushkin has become a common noun which is widely used in anecdotes, proverbs, and sayings. The creation of the "Pushkin myth" was begun by 19th century Russian writers and critics: V.G. Belinsky, N.V. Gogol, A.A. Grigoryev, F.M. Dostoevsky. The 20th century men (and women) of letters, following D.I. Pisarev, contributed to the formation of the "Pushkin countermyth", as well as to the appearance of the poetic phenomenon called "My Pushkin". The most exuberant jubilee celebrations in 1937 and 1999 contributed to the growth of "pushkinophobia" and to the banalisation of the poet's personality and his work.

*Дантес никак не мог решиться на-
жать на курок. Но услышав грозный
окрик своего секунданта: «А стрелять
за тебя Пушкин будет?» – вздрогнул
и инстинктивно разрядил пистолет
в поэта.*

Старинный анекдот

Тот факт, что имя Пушкина уже столетие с лишним как стало нарицательным, никого не удивляет и никем не оспаривается: факт этот давно стал общим местом. Слово «Пушкин» научилось так виртуозно, так лихо отделяться от носителя имени, что без всякого смущения фигурирует в поговорках, присказках, анекдотах.

«А кто будет свет выключать? Пушкин?» – в этом выражении, а также в его многочисленных аналогах связь с реальной биографией и личностью первого поэта России утрачена почти абсолютно: никому из произносящих подобную фразу не нужно ничего знать ни о поэзии Пушкина, ни о нем самом. Вместо слова «Пушкин» в жестком вопросе о выключении света (уборке мест общего пользования, сделанных уроках, выполнении плановых заданий и т. п.) можно поставить имя, которое будет настолько общеизвестным, настолько несомненным, что будет равно едва ли не Господу Богу. Или Папе Римскому, как это слышно из допроса с пристрастием, который Остап Бендер применил к взяточнику Скумбриевичу в водах Черного моря: «А кто брал, Папа Римский брал?..» [11, с. 508].

Пробуя найти замену «Пушкину» в контексте подобных вопросов, легко убедиться, что ни Лермонтов, ни Тютчев, ни Есенин, ни

Пастернак с Ахматовой и Мандельштамом не годятся: у «Пушкина» роль особая, уникальная, исключительная. Вспомним персонажа романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Никанора Ивановича Босого: «Никанор Иванович... совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз произносил фразы вроде: „А за квартиру Пушкин платить будет?“ или „Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?“ „Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?“» [3, с. 583].

В то же время Пушкин – персонаж огромного числа анекдотов, где его имя абсолютно незаменимо.

«Бендер выдал мальчику (беспризорнику, которого Остап послал узнать адрес, куда были вывезены два стула из Аукционного дома. – Л.С.) честно заработанный рубль.

– Прибавить надо, – сказал мальчик по-извозчичьи.

– От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный» [11 с. 586].

Комментируя это место в романе «Двенадцать стульев», автор обширного корпуса комментариев Ю.К. Щеглов замечает: «Пушкин упоминается в речи 20-х гг. как „кто-то, заведомо далекий от того, что обсуждается“» [12, с. 575].

Пушкин – здесь эквивалент выражения «Бог подаст»: небрежный и немилосердный отказ нищему в милостыне.

Материалом для анекдотов служит и творчество поэта; в этом случае предполагается, что смеяться будут как раз те, кто Пушкина читал и хорошо помнит: «В какой знаменитой строке А.С. Пушкин упоминает новых русских? – „Златая цепь на дубе том“...». Или: «Во время экзамена в Литературный институт.

– Прочтите что-нибудь пушкинское, из „Евгения Онегина“.

– Мой дядя – ректор института...

– Спасибо, вы приняты».

В России давно утвердился коммерчески бесцеремонный обычай использовать имя «Пушкин» в рекламных целях: пример тому – шоколад и шоколатерия «Пушкин», одноименные мужской одеколон и освежитель воздуха, водка в стеклянных бутылках, наружный вид которых представляет собой довольно верное изображение головы Пушкина, папиросы «Пушкинские», ресторан «Пушкин» на Тверском бульваре в Москве. (Северная столица догоняет Москву – в Санкт-Пе-

тербурге есть уже и ресторан «Достоевский», и ресторан «Братья Карамазовы»). Рассказывают, будто Пушкина слышали продающим «Виагру» на радио «Эхо Москвы», с комментариями от рекламщиков: «Все великие мужчины были великими любовниками, причем до очень преклонного возраста. Вспомним царя Соломона, Петра Первого, Александра Сергеевича Пушкина, наконец!» Клубно-музыкальные истории называют «пушкингами», сочиняются каламбуры в стиле В. Вишневского: «И долго буду тем любезен я, и этим».

Н.И. Михайлова, заместитель директора Государственного музея А.С. Пушкина по научной работе, собрала большую коллекцию подобных словесных «артефактов». «В 1980 году „Литературная газета“ сообщила о носовом платке, в центре которого в овальной рамочке – портрет Татьяны Лариной, канделябр со свечами, розочка и свернутый лист бумаги с начертанными словами „Я вам пишу“ (вместо пушкинских – „Я к вам пишу“). В 1990 году в Москве и Ленинграде бойко продавался сувенир – гусиное перо с профилем Пушкина и его автографом (прямо на перо). В перо вставлен стержень от шариковой ручки. Продавались же такие сувениры вместе с пакетами, в которые были вложены красные, синие, серые полоски бумаги с изображениями набережной Мойки, Святогорского монастыря, собора Василия Блаженного и с приличествующими картинкам цитатами из поэтических текстов Пушкина и Лермонтова... В 1989 году был выпущен целлофановый пакет с профилем Пушкина, воспроизводящим его автопортрет из ушаковского альбома, – „3 кг, для пищевых продуктов“. И таким образом находит свое выражение наша всенародная любовь к Пушкину или, вернее, используется наша любовь к Пушкину, возвращаясь к нам в виде пакета для продуктов, шоколадной обертки, этикетки на спичечном коробке... Школьники за 5 коп. покупали резинки с выпуклым портретом Пушкина. Книголюбы могли приобрести книжные шкафы с резным изображением Пушкина. Франты щеголяли тросточками, ручки которых представляли собой вырезанные из дерева головы Пушкина. Бланки различных свидетельств, аттестатов были украшены пушкинскими портретами» [14, с. 291–294].

Прочитаем рекламное объявление об артистическом Салоне в Брюсовом переулке Москвы, где читают произведения Пушкина, играют в Пушкина, интерпретируют Пушкина не только как реальный образ, но

и как образ жизни (на входе требуют от посетителей-мужчин на лице иметь бакенбарды): «Почти растворившийся в медиашуме, Пушкин актуален до такой степени, что вокруг него собираются самые яркие и экстравагантные артисты – коллективы аутентичного пения, композиторы новой волны, мастера театральной импровизации, трагики и клоуны, экспериментаторы и мистагоги. Они играют Пушкина, судят о Пушкине, извлекают из его поэзии новые идеи, смыслы, формы, сэмплы, трансформируя великий и могучий пушкинский в нечто вовсе запредельное, но подчиненное пушкинским императивам. Возможно, мы имеем дело с образованием новой пушкинской идентичности, проникновением в пушкинскую аутентичку» [18].

И далее: «Коломенский Музей пастилы специально для Салона сварит и привезет любимое Пушкиным крыжовенное варенье, а книжная сеть „Республика“ откроет на время вечера фотосалон в стиле XIX века. Фотографироваться сможет любой желающий, тем более что на празднике предусмотрен дресс-код – обязательный аксессуар пушкинской поры – перчатки, трость, лорнет и так далее, включая бакенбарды» [там же].

В 2012 году появились «образовательные» рекламные щиты, мотивирующие людей к чтению. Классики русской литературы – Пушкин, Толстой и Чехов – были одеты в спортивные костюмы и давали тренерские советы. Пушкин подсказывал неопытным читателям: «Начинай с небольших текстов. Постепенно увеличивай нагрузку». «Не сдавайся. На 500-й странице откроется второе дыхание», – убеждал Толстой, автор «Войны и мира», самого длинного романа школьной программы. «3 подхода по 7 страниц ежедневно – и результат заметен через неделю», – вторил ему Чехов.

Годом ранее, в 2011-м, жителей и гостей Санкт-Петербурга от лица членов партии «Единая Россия» поздравляли с днем города Пушкин, Бродский, Виктор Цой, Анна Ахматова и Дмитрий Шостакович. Плакаты с изображением русских классиков разместили на автобусных остановках. Такое поздравление не могло не возмутить некоторых поклонников их творчества, ведь перечисленные знаменитости не имеют никакого отношения к главной политической партии государства.

В Алма-Ате на одном из постеров Пушкин был изображен целующимся с казахским народным композитором Курмангазы (по при-

меру поцелуя Брежнева и Хонеккера, изображенного на берлинской стене) – этим изображением рекламировался гей-клуб.

Рассказывают историю, будто сам Пушкин еще при жизни был не чужд рекламному делу и однажды даже немного заработал, решив использовать свой текст в рекламных целях. «Летом 1831 года Пушкин жил в Царском Селе, в домике вдовы придворного камердинера Китаевой. Неизменный распорядок дня поэта предполагал ежеутреннюю ледяную ванну, чай и затем работу. Сочинял Пушкин, лежа на диване среди беспорядочно разбросанных рукописей, книг и обгрызанных перьев. Из одежды на нем практически ничего не было и одному удивленному этим посетителю он, согласно легенде, будто бы заметил: „Жара стоит, как в Африке, а у нас там ходят в таких костюмах“. Говорят, однажды некий немец-ремесленник, наслышанный об искрометном таланте поэта, обратился к Пушкину с просьбой подарить ему четыре слова для рекламы своей продукции. Пушкин был в настроении и немедленно продекламировал: „Яснее дня, чернее ночи“. Эти четыре слова стали, говорят, первоклассной рекламой сапожной ваксы, производимой ремесленником» [23, с. 22].

В начале 2016 года на телевидении появился 25-секундный рекламный ролик «Майского чая». Задумчивый голос за кадром читает строки из 37-й строфы третьей главы «Евгения Онегина», с кратким «послесловием»:

Смеркалось. На столе, блистая
Шипел вечерний самовар.
Китайский чайник нагревая
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый ольгиной рукою
По чашкам темною струею,
Уже душистый чай бежал.
И сливки мальчик подавал.

*(А. Пушкин. Российская классика. Нам есть чем гордиться,
нам есть что любить).*

На экране семья: артист, загримированный под Пушкина, актриса, загримированная якобы под Наталью Николаевну, двое их детей, мальчик и девочка, две одинаковые домашние собачки. Люди пьют

рекламируемый чай, дети наливают собачкам в блюдце молоко, на столе, кроме чашек и блюдца, красуется рукопись, в которой почерком, похожим на почерк Пушкина, пишутся строки из той самой главы «Онегина».

Вообще зрители весьма скептически отнеслись к рекламе «Майского чая» с чаепитием в семье поэта, называя ее претензией на историческую фишку, псевдоисторическим рекламным лубком. Более всего потребителей раздражает здесь именно претензия на историю, псевдоисторическая картинка: трудно понять, что не так с этим.

А не так с этим многое – то, что не соответствует подлинным реалиям жизни поэта. Ролик вот уже третий год мучит телезрителей. Кто сыграл Пушкина в рекламе «Майского чая»? Может, Максим Галкин? Почему не называют имен артистов? Почему детей только двое, а не четверо, как было в семье поэта? Почему музыка, которая звучит в ролике, взята из лермонтовского «Маскарада» (композитор Арам Хачатурян). Почему Наталья Николаевна бежит по комнате с заварочным чайником? Где слуги?

За десятилетия манипуляций со словом «Пушкин» зритель – если ему предлагают некую вымышленную, но претендующую на реальность картинку с Пушкиным – требует, чтобы в этой картинке все было так, как надо, как было на самом деле: то есть достоверно, правдиво, подлинно.

Имеет смысл привести подробности рекламы вышеупомянутого московского ресторана русской дворянской кухни «Пушкин», открывшегося 4 июня 1999 года на Тверском бульваре в особняке, построенном в стиле барокко. «Тверской бульвар и его окрестности, – значится в рекламном анонсе, – играли в жизни А.С. Пушкина большую, почти мистическую роль. Будучи открытым в 1796 году, он стал местом прогулок высшего московского общества и знаменитых людей. Пушкина на бульваре встречали не раз. В доме Кологривовых, на месте МХАТ им. Горького, два раза в год устраивал детские балы знаменитый танцмейстер Йогель, обучавший детей московской и петербургской знати танцам. И на одном из таких балов Пушкин встретил свою будущую жену, 16-летнюю Наташу Гончарову. Наконец, в начале бульвара, у Никитских ворот, стоит церковь, где их венчали. И памятник Пушкину стоял раньше тоже на Тверском бульваре» [13].

Рестораторы честно стараются оправдывать название своего заведения – официанты, в основном молодые статные мужчины (как это было принято в доброе старое время в дорогих заведениях), отменно вежливые и услужливые, обращаются к посетителям по форме: «Добро пожаловать сударь», «Чего изволите, сударь?» «Персонал, одетый в духе того времени, окончательно дополняет атмосферу и переносит гостей из современной столицы в Париж, Венецию или Петербург времен королей и императоров» [там же].

Старинные рецепты, атмосфера а'la XIX век, типа – господа решили откусать.

Перед зданием Петербургской филармонией через весь Невский проспект однажды натянули полотнище: «Игра – одна из самых сильных страстей человечества. А.С. Пушкин. Казино „Титан“ открыто 24 часа в сутки».

В песне Булата Окуджавы «На фоне Пушкина снимается семейство» рефреном звучат строки: «На фоне Пушкина и птичка вылетает». Пушкин здесь – это такое волшебное слово, ведь фото на фоне Пушкина (пушкинского ли памятника, портрета ли, вывески с его именем) сулит исполнение желаний.

«А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в „Яр“ заскочить хоть на четверть часа» – здесь Пушкин из ностальгической песни Окуджавы «Былое нельзя воротить...» – как раз поэт, дорогой собеседник, приятель, может быть, друг. Пушкин ассоциируется с желанием чего-то невозможного, и если «извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, то завтра наверное что-нибудь произойдет».

А в стихотворении Окуджавы «Счастливчик Пушкин» воспроизводится часть мифологии о Пушкине, которая огромна и цветиста: образ Пушкина показан в зеркале популярного, обыденного сознания, на уровне массовой культуры, ее ходячих слухов и анекдотов.

Александр Сергеевичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,
баба щурится из избы,
в небе – жаворонки,

только десять минут езды
до ближней ярмарки.
У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:
жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.
Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!
Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.
Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Он умел бумагу марасть
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

В популярнейшей композиции Ю. Шевчука «В последнюю осень» певец обращается к Пушкину-мудрецу, хранителю знания, посвященного в некие сакральные тайны, – это и скорбь о ранней смерти поэта, это и горечь утраты, обездолившей современных стихотворцев и бардов.

Ах, Александр Сергеевич милый,
Ну что же вы нам ничего не сказали,
О том, что искали, держали, любили.
О том, что в последнюю осень вы знали.

.....

Уходят в последнюю осень поэты,
И их не вернуть, закованы ставни,
Остались дожди и замерзшее лето,
Осталась любовь и ожившие камни.

...Вновь обращусь к диалогии И. Ильфа и Е. Петрова, которая буквально пронизана именем Пушкина, образами и строками его поэзии, пушкинской мифологией. Пушкин – самый убедительный тест на элементарную, в пределах школьной программы по литературе, образованность. «Не обязательно всюду быть, – кричит в редакции ежемесячного охотничьего журнала „Герасим и Муму“ Никифор Ляпис-Трубецкой, темный графоман и халтурщик, сочинитель нескончаемой „Гаврилиады“ (намек на пушкинскую „прекрасную шалость“): „Гаврила ждал в засаде Зайца, / Гаврила Зайца подстрелил“ и т.п.). – Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции» [11, с. 234].

«О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии», – возражает ему грамотный работяга, редактор «Станка» Персицкий.

«Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:

– Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал» [там же].

Если Пушкину можно описать место, не побывав на нем, то и всякому можно, рассуждает Никифор Ляпис.

Пушкин – и слово, и поэт, и его памятник, будучи центром мироздания, – магнитом притягивает к себе все живое. «На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок... Но жизнь весны кончилась – в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестренках кепках, брюках дудочках, галстуках „собачья радость“ и ботиночках „джимми“» [11, с. 238–239].

Профессиональный сочинитель острот, записной автор юмористических журналов, Авессалом Владимирович Изнуренков, обладатель одного из двенадцати стульев, встречается в Пятигорске (уже лишившись стула) с просящим милостыню Кисой Воробьяниновым, сует ему, неузнанному, три рубля. «Долго еще в „Цветнике“ мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось:

– Ах! Ах! „Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!“ Ах! Ах! „Напоминают мне они иную жизнь и берег дальний!..“ Ах! Ах! „А поутру она вновь улыбалась!“ Высокий класс!..»

Две строки романа С. Рахманинова на слова А. Пушкина в исполнении Изнуренкова соседствует со строчкой полублатной песни Б. Кинера и М. Цитриняка «Бандиты стражу перебили»; оба произведения одинаково вызывают «ахи» исполнителя и оценивается им как «высокий класс». Пошляк Изнуренков, персонаж пародийный, соединяет красавицу из романсовой композиции Пушкина-Рахманинова с красоткой из блатных «Бандитов»: для него это одна и та же фемина. Прием снижения образа построен по классическому образцу.

«Куда девал сокровища убиенной тобой тещи?..» [11, с. 302] – кричит отец Федор Востриков, священник церкви Фрола и Лавра уездного города N. и по совместительству охотник за бриллиантами мадам Петуховой, обращаясь к ее зятю, Кисе Воробьянинову. – Говори!.. Покайся, грешник!

Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: „Дробясь о мрачные скалы, / Кипят и пенятся валы...“

Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись» [11, с. 303].

Хорошо знающий творчество Пушкина и уместно, по ситуации, им пользующийся Остап Бендер цитирует первые две строки стихотворения «Обвал» (1829), точно рассчитывая, какой эффект оно должно произвести на алчного попика: великий испуг, до обморока, и грозное предупреждение о смертельной опасности, будто знает отец Федор вторую строфу стихотворения:

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

Окрик Бендера остановил и охотника за чужими сокровищами попа-расстриги. «Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь... Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх» [там же].

Сила поэтического слова в устах умелого манипулятора командора Бендера творит чудеса, обращая противника бегство.

Меж тем отец Федор тоже, оказывается, не чужд пушкинской стихии. Забравшись, движимый великим испугом, на совершенно отвесную скалу, он уже почти в беспамятстве, шепотом цитирует «Цыган». «Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба. Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Орел покосился на отца Федора, закричал „ку-ку-ре-ку“ и улетел. — Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!» [11, с. 305].

Вообразая себя «птичкой божьей», Федор Иванович Востриков изрядно лицемерит – цитата из «Цыган» дана ему будто в издевку. Используя тайну исповеди в целях наживы, стяжатель скачет по городам и весям в погоне за чужими стульями, трудится в поте лица и не щадя живота своего, заботясь во что бы то ни стало опередить конкурентов. Что же касается «долговечного гнезда», то, доведя до полного разорения свой дом в уездном городе N., он мечтает о покупке давно присмотренного свечного заводика в Самаре – нужен только основной и оборотный капитал. Так что нет ничего более далекого от отца Федора, чем птичка божия, что гласу Бога внемлет, а как солнце красное взойдет, встрепенется и поет.

Пушкинские «следы» щедро разбросаны по всей диалогии – намеки, аллюзии, ассоциации. Назову лишь некоторые: «Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и,

пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик» [11, с. 401]. «Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона?» [11, с. 433] (здесь сразу три скупца – из Шекспира, Пушкина, Мольера). «Я вам устрою сцену у фонтана» [11, с. 439], – грозит Остап Бендер – Димитрий Самозванец устроить крупную разборку своим нерадивым компаньонам, Шуре Балаганову и Паниковскому.

И, наконец, Пушкин – собственной персоной, без экивоков, намеков и околичностей: «У меня, – признается Остап Бендер водителю „Антилопы“ Адаму Козлевичу, – налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: „Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты“. Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?» [11, с. 639].

Много титулов и званий у Остапа Бендера: сын турецкоподданного и графини, живущей на нетрудовые доходы; командор; великий комбинатор; потомок янычаров; кавалер ордена Золотого Руна. Но последнее, в финале «Золотого тельца», самое замечательное.

«Вот навалился класс-гегемон, – сказал Остап печально, – даже мою легкомысленную идею – и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен.

– Печальный влюбленный, – произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.

– Да, – ответил Остап, – я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью» [11, с. 643].

Родство Остапа Бендера с Евгением Онегиным очевидно: он такой же, как и Онегин, *лишний человек* – лишний на советском празднике жизни, в мире профсоюзных столовых, в расписании автопробегов и собраниях почвоведов, в сознании молодых девушек и юных студентов, которые чураются миллионера и его непонятого миллиона. При всем своем уме, энтузиазме и опытности он не смог предвидеть, что миллион в сложившейся жизненной ситуации не даст ему никаких новых возможностей.

Однако замечу и существенное различие: об Остапе Бендере, может, и можно думать как о *типичном Евгении Онегине*, но представлять Евгения Онегина как *типичного Остапа Бендера* никак невозможно: не тот масштаб, не та эстетика.

В контексте диалогии И. Ильфа и Е. Петрова Пушкин – в полном объеме смыслов – и в самом деле «наше все».

Пушкинский миф – это корпус текстов русской литературы, в которых А.С. Пушкин представлен как литературный герой или мифологический образ.

Пушкинский миф обаятелен и многолик.

О бескрайнем океане пушкинской мифологии пишет автор широко известных очерков о мифологии Петербурга: «Повышенный интерес низовой, фольклорной культуры к тому или иному историческому лицу, как правило, возникает при острой недостаточности документальной информации. И хотя Пушкин, будучи одним из любимцев истории, не был обделен вниманием официальных летописцев, интерес к нему фольклора огромен. Наряду с документальной создавалась параллельная, фольклорная биография поэта, фрагменты которой дошли до нас в виде легенд и преданий, мифов и анекдотов о любимом национальном поэте» [23].

Имеет смысл подчеркнуть, что «миф» как понятие не имеет единого общепринятого определения. Миф – это не совсем сказка и не совсем выдумка, ибо часто содержит в себе некую важную информацию, рациональное зерно реальных событий и фактов. Мифология (от греч. *mifos* – предание, сказание и *logos*: слово, понятие, учение) – форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития. Однако и в современной культуре слово «миф» – одно из наиболее популярных и общеупотребительных, хотя оно продолжает оставаться неразгаданным и глубоко таинственным. Историки культуры понимают миф как совокупность странных, фантастических повествований, на которых построена вся духовная жизнь древнейших цивилизаций.

В мифе странно и причудливо сочетается подлинное и вымышленное. «Миф – это яркая и подлинная действительность, ощущаемая, вещественная, телесная реальность, совокупность не абстрактных, а переживаемых категорий мысли и жизни, обладающая своей соб-

ственной истинностью, достоверностью, закономерностью и структурой и в то же время содержащая в себе возможность отрешенности от нормального хода событий, возможность существования иерархии бытия» [15].

Миф, полагают историки культуры, соединяет в себе рациональное и иррациональное. Рациональное – поскольку современный человек стремится достичь ясной картины окружающего мира, такой картины, которую можно проверить на достоверность и подлинность. Иррациональное же в мифе не подлежит проверке, и ему нет соответствия в действительности. Соединение рационального и иррационального более всего отвечает задаче постижения биографии великого человека, которая – в восприятии современников – при всей тяге к реализму и ясности часто мифологизируется и даже мистифицируется. «Миф – вещь двусмысленная, амбивалентная. В одних случаях мифу надо верить – иначе попадешь в профаны, выгонят тебя из храма культуры и обзовут Фомой неверующим. В других случаях мифу верить нельзя ни в коем случае – иначе попадешь в дураки и невежды: „А ты думал, что это правда? Неужели ты такой темный?“ И самая коварная штука заключается в том, что нигде, ни в какой энциклопедии, ни в каком справочнике не написано, как отличить миф в первом, высоком значении („предание, традиция“) от мифа во втором, низком смысле („вранье“)» [17].

Пушкинский миф стал формироваться уже при его жизни. Фактически каждое крупное событие недолгой жизни поэта становилось легендой, тканью мифа, сценарным материалом. Формулы личности Пушкина, которые проговаривались его выдающимися современниками, становились *мифологемами* – и время показало их жизненность, их непреходящую актуальность.

Основоположником, пионером создания пушкинского мифа можно считать Н.В. Гоголя. В 1832 году в небольшой статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь провозгласил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: *это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет*» [5, с. 260].

Гоголь написал это за пять лет до смерти поэта, но и сегодня мысль о нем как о русском человеке, который явится через двести лет, будоражит воображение соотечественников. Гоголь, правда,

обезопасил свое высказывание осторожной оговоркой «может быть», хотя ее, эту оговорку, в спорах о Пушкине и о прогнозах Гоголя, как правило, не замечают. Но как не явилось в русской поэзии второго Пушкина, так и не стал русский человек в своем развитии явлением, в котором «русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла» [там же].

Да и с какого времени следует отсчитывать эти двести лет? Если со дня рождения поэта, то двести лет исполнились в 1999 году: русский человек в своем развитии претерпел столько страданий, столько несчастий, столько утрат, что странно было бы ожидать от него безупречной чистоты и красоты характера. Если же гоголевский срок приурочен к дате написания статьи, то вряд ли и в 2032 году наступит время, когда будет достигнуто величие русской души в абсолютной степени. Не мог предвидеть автор «Мертвых душ», как повлияют на русского человека революции, войны, репрессии, тюрьмы, лагеря. Чего стоит один только «мирный» квартирный вопрос, который так испортил характер соотечественников и в столицах, и в провинции.

Мифологема «русский человек через двести лет» в статье Гоголя все же была смягчена обаятельными деталями из биографии Пушкина, которые называет писатель: разгул и раздолье, которые так нравятся свежей молодежи; Кавказ, который разорвал в поэте цепи, тяготевшие на свободных мыслях. «Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин; ничья слава не распространялась так быстро... Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду» [5, с. 261].

Невозможно переоценить, какое влияние оказал романтический гоголевский комментарий на будущих биографов поэта.

Еще через два года мысль Гоголя поддержал В.Г. Белинский. «Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, – но мира русского, но человечества русского» [1, с. 397]. Мысль о Пушкине, который все попробовал – и в поэзии, и в жизни, – стала насущной пищей для биографов, дала возможность самым широким толкованиям.

«Его муза – не бледное существо, с расстроенными нервами, закутанное в саван, это – женщина горячая, окруженная ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, чтобы искать воображаемых, достаточно несчастная, чтобы не выдумывать несчастья искусственные» [4, с. 444]. Так в 1850 году высказался о Пушкине А.И. Герцен, поддержав расхожее суждение о чувственном характере поэзии Пушкина, но избежав той резкости, с которой о чувственности поэта писал, например, М.А. Корф, лицеист-однокашник, невзлюбивший поэта: «В Лицее он превосходил всех чувственностью, а после, в свете, предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как и здоровье, и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившие его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия; и в обеих он ушел далеко» [8, с. 220].

О чувственности поэта сложены легенды; о его донжуанском списке не упоминают разве что самые чопорные казенные пушкинисты, мифы о поэте-сластолюбце с бешеным желанием и страстей – обязательный атрибут многих и многих жизнеописаний, равно как и легенды об адресатах его любовных посланий: споры об этом не прекращаются и по сей день.

Важнейшая из мифологем о Пушкине возникла через два десятилетия после смерти Пушкина, в 1859 году, под пером еще одного корифея русской критической мысли А.А. Григорьева: она, мифологема, во-первых, определила место Пушкина в меняющемся мире и в мировой литературе (как оно понималось критиком), а во-вторых, стала мемом, полновесной единицей культурной информации.

«Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя... все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный... образ народной нашей сущности...» [7, с. 78].

При очевидной прозрачности высказывания, оно вызывает множество вопросов. Что значит «наше»? Наше – то есть принадлежащее русской литературе и ничье больше? Что значит «все»? Надо ли так понимать, что за пределами Пушкина для «нас» больше ничего существенного нет? Или все же есть? Покрывает ли собой Пушкин весь объем и горизонт литературы и культуры? Далее. Самородок ли Пушкин? Для биографа это важнейший вопрос: откуда все же взялся пушкинский гений, из чего возник, на чем возрос? Однороден ли образ «народной нашей сущности»? Так ли он полон и целен? Эффектное рассуждение критика, нуждается, как видим, в уточнении и конкретизации, чтобы яркая и звучная мифологема превратилась в нечто осязаемое и реальное.

Нельзя тут не вспомнить современный анекдот: «Почему говорят, что Пушкин – это наше все?» – «А потому, что все остальное уже не наше».

Весьма скоро после публикации А.А. Григорьева утверждение, что Пушкин – «наше все», было радикально поколеблено другим представителем русской критической школы, с ярким протестным, нигилистическим складом ума. Д.И. Писарев дал понять (1865), что он не подписывается под формулой «наше все», не приемлет ее, и никакого благоговения при анализе пушкинских текстов не испытывает. В статье «Пушкин и Белинский» [20, с. 111]. Писарев так язвительно, так насмешливо, так уничижительно и беспощадно отзывался о предметах пушкинской поэзии, так презрительно рисует центрального пушкинского персонажа, Евгения Онегина, что – в рамках своей статьи – камня на камне не оставляет от величия Пушкина. На фоне Шекспира, Шиллера, Байрона и Гёте, «наше все» для Писарева – это всего лишь *наш маленький Пушкин*, которому *решительно нечего делать в той знатной компании, в которую он попал по милости своего доброжелателя, Белинского*. «Наш маленький и миленький Пушкин, не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют... Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью, как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия».

Короче: «Господин Пушкин изволят быть знаменитым сочинителем. Стало быть, если господин Пушкин изволят любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкие читающие люди, обязаны питать к той же Татьяне нежные и почтительные чувства» [20, с. 114].

Писарев всеми силами своей души противился такому, как он считал, интеллектуальному диктату.

Претензии Писарева к Пушкину равнялись его претензиям к Онегину: оба неспособны к обсуждению насущных проблем, обоим занимают лишь пустяки. Пушкин своим талантом усыпляет общественное самосознание, подавляет личную энергию, обезоруживает личный протест и укрепляет общественные предрассудки. Пушкин не имел ни малейшего желания выставлять напоказ мелкие и дрянные стороны онегинского характера, а на женщину смотрел исключительно с точки зрения ее миловидности. Никакого права стоять на пьедестале Пушкин не имеет – ибо всю жизнь создавал невинные и бесцельные штучки, решать же великие задачи он не только не умел, но и не считал нужным. Имя Пушкина сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров.

Так был создан контрмиф: *мифологема* оборачивалась *идеологией*, отрицание Пушкина как первого поэта России, как абсолютной величины для русской культуры заражало новизной, свержение кумиров виделось задачей соблазнительной, воистину революционной.

Спустя полвека поэт и пушкинист Владислав Ходасевич назовет позицию Писарева «первым затмением пушкинского солнца» – в том смысле, что предчувствие других подобных «затмений» было осязаемо. «В истории русской литературы, – скажет он в феврале 1921 года на Пушкинском вечере в Доме Литераторов Петербурга, – уже был момент, когда Писарев „упразднил“ Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако ж, оно подсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе, до некоторой степени выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума

и убогого эстетического развития, – но никак невозможно сказать, что это были дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть» [27].

Но шел пока что век XIX, со скрипом двигались реформы Александра II, вызревали опасные идеи, выросли будущие революционеры-ниспровергатели. Пушкина продолжали отстаивать большие русские писатели. И.А. Гончаров: «Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников» [6, с. 119]. Это были высокие слова, но и не без оглядки – в том смысле, что передовые его герои уже бледнеют и уходят в прошлое, становятся историей.

И хотя всю вторую половину столетия многим в России казалось, что историческая роль поэта исчерпана, что он относится к разряду завершенных явлений литературы, что его творчество – значимая, но перевернутая страница истории, впереди было великое пушкинское торжество.

Важнейшим этапом формирования полновесного пушкинского мифа стало открытие памятника поэту в Москве, на Тверском бульваре, в 1880 году. Идея, высказанная Ф.М. Достоевским на открытии памятника, содержала серьезное, глубокое допущение. «Если бы жил он *дольше*, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. *Жил бы Пушкин доле*, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» [10, т. 26, с. 148–149].

«Если бы» Достоевского содержало множество сюжетов. Что было бы, если бы дуэль не состоялась, если бы роковой дуэли помешала жена Пушкина, или кто-нибудь из друзей поэта – Жуковский, Вяземский,

Карамзины, или кто-нибудь из высших чиновников и придворных, скажем А.Х. Бенкендорф, или, наконец, государь император Николай Павлович? Что было бы, если бы Дантес выстрелил в воздух, промахнулся, или ранение Пушкина оказалось бы не смертельным и он выжил бы?

Какую великую тайну унес с собой в гроб Пушкин? Разгадали ли эту тайну современники поэта? Сам Достоевский? Литературные потомки? Сегодняшние отгадчики и разгадыватели?

Что такого мог бы явить (сочинить) Пушкин, проживи он *дольше*, какие великие и бессмертные образы русской души, которые привлекли бы к России «европейских братьев», мог бы создать? Значит ли это, что образы, которые Пушкин успел явить в своем творчестве, были не поняты и не приняты Европой, и, стало быть, он слишком мало сделал для того, чтобы европейский Запад перестал смотреть на Россию недоверчиво и высокомерно? Смог ли бы Пушкин повлиять также и на соотечественников в примирительном смысле, привести, например, к согласию западников и славянофилов, не допустить развитие в России губительных революционных идей и самой революции?

В полном ли развитии своих сил умер Пушкин или к моменту смерти он все же исчерпал свой духовный и творческий потенциал, из-за чего воля к смерти оказалась сильнее, чем воля к жизни?

Каждый из этих вопросов, а также сходных с ними, порождали мифы и мифологемы, а еще домыслы, праздные и не совсем праздные размышления. Но главное: насколько уместно все эти вопросы отнести не только к Пушкину, но и к самому Достоевскому, а также к Толстому и Тургеневу? В частности: создал ли Достоевский к концу жизни в своем творчестве нечто такое, что повернуло бы Европу к России? То, что Европа признала и полюбила самого Достоевского – факт неоспоримый, но помогло ли это России?

На открытии памятника свое слово о Пушкине сказал и Тургенев, несколько не поддержав нигилистический скептицизм Писарева, но отдав должное вкладу поэта в развитие русского языка, который по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается едва ли не первым после древнегреческого.

Но необходимо сказать о пушкинском торжестве 1880 года подробнее. «Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе

и вообразить того эффекта, какой произвела она! – писал Достоевский жене, имея в виду свою речь на празднике. – Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (все от „Карамазовых!“). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем» [10, т. 30, кн. 1, с. 184].

На следующий день петербургские газеты писали: «Это была молния, прорезавшая небо».

Почему речь Достоевского стала, по общему признанию, кульминацией праздника, историческим событием? Почему автора без конца вызывали, бешено аплодировали, плакали от восторга, падали в обморок, целовали ему руки? Почему два незнакомых старика смогли сказать: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, вы наш святой, вы наш пророк!» [там же].

Достоевский точно знал, почему. «Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу *быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*» [там же].

Волшебное, равное чуду счастье всеобщей любви продлилось, как потом говорили, всего одно мгновение – после чего ненависть и злоба запылали с утроенной силой. Очнувшись от гипноза огненной речи, клявшиеся и рыдавшие будто наворачивали упущенное, стремясь больше укутить автора речи и растерзать в клочья саму речь. Победа, предвкушаемая Достоевским накануне и испытанная в день праздника, оказалась иллюзорной, – может быть, еще и потому, что Достоевский сам шел на праздник как на бой.

«Лишь после знаменитой речи Достоевского, – напишет Вл. Ходасевич спустя полвека, – Пушкин открылся не только как „солнце нашей поэзии“, но и как пророческое явление. В этом открытии и заключается неоспоримое историческое значение этой речи, весьма оспоримой во многих ее критических частностях. Нисколько не

удивительно, что, прослушав ее, люди обнимались и плакали: в ту минуту им дано было новое, необычайно возвышенное и гордое понятие не только о Пушкине, но и обо всей России, и о них самих в том числе» [28].

Однако торжество в честь великого поэта, объявленное территорией любви, катастрофически быстро обернулось зоной раздора и ареной военных действий.

XX век оказался временем тем более далеким от того, чтобы стать территорией любви к великому Пушкину – за него теперь надо было бороться, его дело надо было отстаивать. *Мифологемы* («русский человек через 200 лет», «Пушкин – наше все», «жил бы Пушкин долее» и т.п.) уступили место *символам*. Наступало время «второго затмения», согласно термину Ходасевича. «Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но – предстоит охлаждение к нему. Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидно для всех. Нельзя и среди людей точно определить те круги, те группы, на которые падет его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. *Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа*. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова – не отщепенцы, не вырожденки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей – и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты, – но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти» [27].

Признаками (призраками!) или угрозами «второго затмения» Ходасевич считал отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы. Если в пору «первого затмения» Писарев проповедовал главенство содержания, то проповедь главенства формы оказывалась столь же враждебна всему духу пушкинской поэзии,

ибо те, кто полагает, что Пушкин велик виртуозностью формы и что содержание – вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, – суть писаревцы наизнанку. «Сами того не зная, они действуют как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей» [там же].

Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, находящуюся под властью исторических событий огромного значения и размаха. Революция вместе с Гражданской войной принесли небывалое ожесточение и огрубение во всех слоях русского народа. Культуре предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и образ Пушкина. Исторический разрыв с пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории.

Ходасевич предвидел, что та близость к Пушкину, в которой выросло его поколение, уже не повторится никогда: идут последние часы этой близости перед разлукой. Имя Пушкина, считал Ходасевич, должно стать тем именем, которым его верные почитатели станут аукаться, перекликаться в надвигающемся мраке.

В сходном настроении пребывал и А. Блок. В стихотворном послании 1921 года «Пушкинскому Дому», фактическом завещании поэта, Пушкин обозначался как символ борьбы с мраком: только в нем виделось спасение среди глубины отчаяния и гибели.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

«Непогода» ощущалась не только со стороны политического мрака: наступило время, когда в глазах многих эстетов, особенно среди эмиграции (монпарнасцев) любить Пушкина значило расписаться в литературном дилетантизме, в эстетической неразвитости. Немногие вступались в те поры за честь Пушкина – среди этих немногих был Владимир Набоков. «Так уже повелось, – говорит герой романа «Дар» Годунов-Чердынцев, – что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои

социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете критиковать Пушкина за любые измены его высказательной музе и сохранить при этом и талант свой, и честь» [16].

И все же: мифологемы о Пушкине, как и вообще любые мифологемы, вовсе не синонимы истины, и чем более они красноречивы, чем более внушительно выглядят, тем больше споров вызывают. XX век не посчитался с авторитетом Гоголя и Белинского и рискнул взглянуть на Пушкина взором скептическим, трезвым, полагая, что любовь к Пушкину – суть любовь слепая, почти инстинктивная. Так, российский писатель и литературовед П.К. Губер, автор популярной книги «Дон-Жуанский список А.С. Пушкина», написанной в 1923 году, назвал Пушкина *гениальным выродком в семье русских писателей*. «Не ищите у него морали. Его муза воистину по ту сторону добра и зла. В его поэзии нет никакой этической проповеди, никакого учительства, никакого нравственного пафоса. Моральное прекраснотушение ему смешно, а моральный ригоризм – чужд и непонятен... *Пушкин не был выразителем русской культуры...* не имел продолжателей, не оказал никакого воздействия на дальнейшие судьбы русской литературы, которая после его смерти пошла своим собственным путем. *Позднейшим поколениям он не завещал ничего*, кроме ряда эстетических эмоций... Завершитель старого, он не мог быть зачинателем нового» [9, с. 5–7].

Спустя 15 лет, в 1938-м, П.И. Губер будет арестован НКВД по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, а также в деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления. Отправленный в Кулойлаг НКВД (ст. Архангельск), он скончается там в 1940 году.

Имело ли в виду грозное обвинение – в том числе или главным образом – нестандартную интерпретацию темы «Пушкин и русская литература» или было что-то совсем другое, неясно, но весьма символично: арест, срок и лагерь с Губером случились не сразу, в 1923-м (тогда за нестандартные мысли о Пушкине еще никого не трогали), а вскоре после грандиозного празднования (!) столетия со дня смерти поэта, которое расставило все политические акценты в отношении советской власти к скорбной дате. Еще несколько лет назад пролетарские писатели свергали «ненужного» Пушкина

с пьедестала, выбрасывали его на свалку истории, юбилей же дал повод властям возвести Пушкина в ранг официального кумира: Пушкин – идейный враг царизма, союзник большевистской партии, выразитель надежд и чаяний советского народа. «Правда» тех дней в редакционной статье писала: «Прошло 100 лет с тех пор, как рукой иноземного аристократического прохвоста, наемника царизма, был застрелен величайший русский поэт. Пушкин целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в нашем народе. В конечном счете, творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан» [22].

Итак «Пушкин – наше все» образца 1859 года спустя 78 лет превратился в «Пушкина – целиком нашего, советского». Пушкина «слили» с Октябрьской революцией и поставили ей на службу, возвели в ранг советской культурной иконы.

А торжество в память о гибели Пушкина («юбилей умертвий»: мертвый герой – лучший герой) и в самом деле случилось грандиозное – и власть использовала его для укрепления своего государства и своей политики. Отныне Пушкин принадлежал тем, кто борется, работает, строит и побеждает под великим знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Главным официальным мероприятием юбилея стало торжественное вечернее заседание в Большом театре в Москве 10 февраля 1937 года, в котором приняли участие все руководители СССР во главе со Сталиным. Заседание транслировалось по радио на всю страну. Торжественные митинги, собрания, научные конференции, спектакли, концерты и карнавалы были проведены в этот день во многих городах СССР: праздники проходили в каждом высшем и среднем учебном заведении, в театрах, предприятиях, воинских частях. В рамках торжества были изданы тома произведений Пушкина, документальный и художественный варианты его биографии, дан старт всемерному развитию научной пушкинианы. Музеи, памятники, выставки, конкурсы, портреты и скульптуры поэта, почтовые марки с его изображениями – юбилейная пушкиномания была громкая, шумная, затратная, захватывающая воображение своим разнообразием.

Справедливости ради следует упомянуть, что годовщину «умертвий» отмечали не только в СССР. «Пушкин чествовался в 1937 году, т.е.

в год его смерти, во всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии в 4 городах, в Азии в 8 государствах и 14 городах, в Америке в 6 государствах и 28 городах, в Африке в 3 государствах и в 5 городах, а всего в 42 государствах и в 231 городе... В результате всемигрантское празднование юбилея достигло той степени пошлости и умиления, что не сравнить парижские торжества с параллельными московскими было уже невозможно. И там, и здесь национальный культ перерастал в пародию на самого себя и становился угрожающим. Недаром наиболее чувствительные люди бежали от этих самодовольных фанфар: Бунин в юбилейный день просто сказался больным и не явился в президиум» [26].

Но невозможно не видеть разницу между атмосферой торжеств 1937 года в СССР и в остальном мире: пушкинский праздник на родине поэта стал дымовой завесой, государственной ширмой, застилающей реальную жизнь, где правили аресты, тюрьмы, лагеря, расстрелы. 1837-й стал символом изнаночного мира сталинского террора. Не на пустом месте возник анекдот о конкурсе на лучший памятник Пушкину; соревнуются: бронзовая фигура Сталина с томиком Пушкина в руках и бронзовая фигура Пушкина с томиком Сталина в руках. Побеждает монументальная фигура Сталина – томик Пушкина не понадобился.

Огосударствление Пушкина в больших политических целях надолго станет важнейшей культурной тенденцией российского XX века.

Стилистика юбилейных торжеств – идет ли речь о рождениях или «умертвиях» – мало изменилась и в наши дни. *Телеведущий Л. Парфенов*: «При царе, на 100-летие со дня рождения, Пушкина делали подтяжками, водкой, одеколоном, сортом леденцов. При Сталине на 100-летие смерти и 150-летие со дня рождения его имя присвоили Царскому Селу, паркам, театрам, музеям. В 99-м Пушкин, как никогда, наше все: еще и медаль, спортивное многоборье, ресторан, корабли, балет. Юбилей раскручивают по правилам рекламных кампаний. Будто агитируя за кандидата, на одном телеканале лучшие люди страны строка за строкой читают „Евгения Онегина“. На другом ведется обратный отсчет: „До дня рождения Александра Сергеевича Пушкина осталось ... дней“ – 6 июня явно произойдет какое-то превращение, например, юбиляр таки станет главой государства. Ему уже присягает действующий премьер Сергей Степашин, выводя

в специальной книге посвящений „С днем рождения тебя, Александр Сергеевич, мы с тобой!“ [19].

Не смею утверждать положительно, но тот факт, что «Мой Пушкин» Марины Цветаевой был написан именно в 1937 году, на фоне повсеместного угара и разгара пушкинских «умертвий», означал, быть может, попытку укрыться со «своим» Пушкиным подальше от «Пушкина» казенного, официозного. Ей виделся Пушкин – «бич жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен... африканский самовол». А еще раньше, в 1924-м, к 125-летию со дня рождения Пушкина, Маяковский написал «Юбилейное» – стихи-признание, стихи-посвящение. «Может, я один действительно жалею, / что сегодня нету вас в живых. / Мне при жизни с вами стговориться б надо... / Я люблю вас, но живого, а не мумию. / Навели хрестоматийный глянец». Это тоже был «Мой Пушкин», личный Пушкин Маяковского, как и стихи Есенина «Пушкину» того же 1924 года: «А я стою, как пред причастьем, / И говорю в ответ тебе: / Я умер бы сейчас от счастья, / Сподобленный такой судьбе». «Есть имена, как солнце! / Имена – как музыка! / Как яблона в расцвете! / Я говорю о Пушкине: поэте, / Действительном, в любые времена!» – писал в 1926-м о любимом «своем» Пушкине Игорь Северянин. Откровенно интимны лирические строки Анны Ахматовой 1943 года, адресованные *ее и только ее* Пушкину: поэт был для нее источником творческой радости и вдохновения. «Кто знает, что такое слава! / Какой ценой купил он право, / Возможность или благодать / Над всем так мудро и лукаво / Шутить, таинственно молчать / И ногу ножкой называть?..»

Поэтическая пушкиниана насчитывает сотни взволнованных обращений, признаний, посвящений. В большинстве случаев – это именно «Мой Пушкин», тот, о котором в скорбные дни 1837 года сказал Тютчев: «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!..»

И все же...

«Бессчастный наш Пушкин! Сколько ему доставалось при жизни, но сколько и после жизни. За пятнадцать десятилетий сколько поименованных и безымянных пошляков упражнялись на нем, как на самой заметной мишени. Надо ли было засушенным рационалистам и первым нигилистам кого-то „свергать“ – начинали, конечно, с Пушкина. Тянуло ли сочинять плоские анекдоты для городской черни – о ком же, как не о Пушкине? Зудело ли оголтелым ранне-советским опти-

мистам кого-то „сбрасывать с корабля современности“ – разумеется, первого Пушкина» [25, с. 226], – писал в 1984 году А.И. Солженицын, сражаясь с писаревщиной нового времени, порочащей, унижающей Пушкина, издаваемой над ним, грязнящей его.

Если пытаться понять в терминах Вл. Ходасевича книгу А.Д. Синявского «Прогулки с Пушкиным», которую он писал в заключении (Дубровлаг, 1966–1968) и отсылал отрывками, в форме писем жене, Марии Васильевне Розановой, то книгу вполне можно назвать «третьим затмением». «Прогулки...» произвели эффект разорвавшейся бомбы – и в кругах русской литературной эмиграции, и на отечественной почве. Почему? Что так задело Солженицына, и далеко не его одного, в «Прогулках...» Синявского?

Прежде всего подход к предмету. «Что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрязного хлама? Останутся все те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), тросточка, шляпа, развешивающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с проворством фокусника – в частом, по-киношному, мелькании бакенбард, тросточки, фрака... Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.

– Кто заплатит? – Пушкин!

– Что я вам – Пушкин – за все отвечать?

– Пушкиншулер! Пушкинзон!

Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хиялять в рифму» [24].

Пушкин Синявского – это кто-то вроде «насобачившегося хиялять в рифму» Хлестакова: «Легкость в отношении к жизни была основой мирозерцания Пушкина, чертой характера и биографии... наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходит в босяки... Пушкин был щедр на безделки... в литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собою репутацию лентяя,

ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества... молодой поэт в амплу ловеласа становился профессионалом. При даме он вроде как был при деле... На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох... кто еще эдаким дуриком входил в литературу? Он сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку... салонным пустословием Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло... егозливые прыжки и ужимки... поэтический стриптиз... готовность волочиться за каждым шлейфом... куда ни сунемся – всюду Пушкин... пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха... первый поэт со своей биографией – как ему еще прикажете подышать, первому поэту, кровью и порохом вписавшему себя в историю искусства?» [Там же]

И так на всех «прогулках», куда бы автор ни заглянул, куда бы ни завернул, где бы ни погулял. До «Прогулок...» было далеко и Писареву, и писаревцам всех времен и народов. Это была новая мифология – где Пушкин низок, пошл, убог. Незаслуженно возвеличен, не по чину прославлен. «По совести говоря, ну какой он мыслитель!» – восклицал Синявский.

Остап Бендер и его создатели, так часто и так много вспоминавшие Пушкина и о Пушкине, при всем их остроумном хулиганстве, были куда осмотрительнее и, кажется, знали высказывание поэта, завет всякому биографу: «Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству...» [21, с. 35–36].

С.Г. Бочаров, ученик М.М. Бахтина, литературовед, писатель, пушкинист, писал: «В эти полтора столетия соперничали и сменяли друг друга два взгляда на Пушкина и два стиля суждений о нем – то, что названо *пушкинским мифом*, и *научное пушкиноведение*. Пушкиноведение стало на ноги поздно, уже в нашем веке, а до этого царил вольное размышление над Пушкиным с неизбежной склонностью к сотворению мифа. Начиная с Гоголя, при живом еще Пушкине: „явление чрезвычайное... единственное явление русского духа“. Формула Аполлона Григорьева, возникшая на пути от Гоголя к Досто-

евскому, – открыто мифологическая: она наделяет поэта магической властью творца миропорядка, демиурга, культурного героя и возводит Пушкина к древнему архетипу абсолютного поэта – Орфею. Наука о Пушкине в 20-е годы вступила в борьбу с этим пушкинским мифом. Она ревизовала этот самый пафос – „явление единственное, чрезвычайное“: пора покончить с обожествлением Пушкина и подвергнуть его историко-литературному изучению, поставить в общий ряд. В обобщающей книге 1925 года Б.В. Томашевский так и писал – *пора*: „Пора вдвинуть Пушкина в исторический процесс и изучать его так же, как и всякого рядового деятеля литературы“. Выразительное слово – „вдвинуть“ – как втиснуть. Тогда же Юрий Тынянов выступил против известного пафоса: „Пушкин – это наше все“ (это ведь тоже Аполлон Григорьев!) – и заявил, что ценность Пушкина велика, но „вовсе не исключительна“ и с историко-литературной точки зрения Пушкин „был только одним из многих“ в своей эпохе» [2, с. 111].

Становящаяся наука взялась было решить задачу десакрализации и демифологизации образа Пушкина, разрушить миф о его избранности, исключительности. То есть – задачу опровергнуть Гоголя, Белинского, Григорьева, Достоевского, поэтов XX века. Но не потерпела ли академическая наука поражение в этом поединке? В конце концов, разрушая «старый», классический пушкинский миф, авторы XX века (Д. Хармс, А. Синявский, С. Довлатов, Д. Пригов, Т. Кибиров, Т. Толстая и др.) так или иначе создавали миф «новый», всяк на свой лад. «В большинстве случаев демифологизация компенсируется конструированием новых концепций пушкинского мифа, как спонтанным, так и нарочитым. Сознательное созидание неомифов, являющееся специфической чертой модернизма... можно увидеть во многих демифологизирующих текстах, начиная с пьес А. Платонова, стихов и эссе М. Цветаевой до прозы А. Битова и С. Довлатова» [29].

Современная культура озадачивается вопросом: нужно ли непременно развеивать мифы, чтобы выявить одну единственную, несомненную, непреложную правду? Быть может, миф как ценный компонент культуры требует не столько опровержения, сколько изучения? Во всяком случае, полезно знать, имея дело с материалами биографии Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и т.д.), в каком поле – поле мифа или поле правды – находится исследователь, читатель, зритель.

Список литературы:

- 1 *Белинский В.Г.* Литературные мечтания // Молва. 1834. Ч. VIII. № 50.
- 2 *Бочаров С.Г.* Заклинатель и властелин многообразных стихий // Новый мир. 1999. № 6.
- 3 *Булаков М.А.* Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Романы. Л.: Художественная литература, 1978.
- 4 *Герцен А.И.* О Пушкине // *Герцен А.И.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: ГИХЛ, 1955–1958. Т. 3. 1956.
- 5 *Гоголь Н.В.* Несколько слов о Пушкине // *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 7.
- 6 *Гончаров И.А.* Мильон терзаний // Вестник Европы. 1872. № 3.
- 7 *Григорьев А.А.* Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая // *Григорьев А.А.* Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986.
- 8 *Грот Я.К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы. М.: Книговек, 2015.
- 9 *Губер П.К.* Дон-Жуанский список А.С. Пушкина. Предисловие. Харьков: Дельта, 1995.
- 10 *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
- 11 *Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев. Золотой теленок. М.: ГИХЛ, 1956.
- 12 *Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев. Роман. *Щеглов Ю.К.* Комментарии к роману «Двенадцать стульев». М.: Панорама, 1995.
- 13 Кафе Пушкинъ. История // [Электронный ресурс]. URL: <https://cafe-pushkin.ru/istoriya/>.
- 14 *Михайлова Н.И.* «Шоколад русских поэтов – Пушкин» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб.: Академический проект, 1995.
- 15 Миф как явление культуры // URL:<https://studfiles.net/preview/4378948/>.
- 16 *Набоков В.В.* Дар // URL:<http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00184871211548155284/page/18/>.
- 17 *Новиков В.* Двадцать два мифа о Пушкине // Время и мы. 1999. № 143 // URL: <http://magazines.russ.ru/project/arss/novikov/pushkin.html>.
- 18 Ну что, бренд Пушкин? // URL: <http://www.advertology.ru/article109172.htm>.
- 19 *Парфенов Л.* 200 лет Пушкину // URL: <https://namednibook.ru/200-let-pushkinu.html>.
- 20 *Писарев Д.И.* Пушкин и Белинский. М.; Пг.: Гос. изд-во «Типография “Печатный двор”», 1925.
- 21 *Пушкин А.С.* История русского народа, сочинение Николая Полевого // *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. 6. 1962.
- 22 [Редакционная статья] // Правда. 1937. 10 февраля.
- 23 *Синдаловский Н.А.* Легенды пушкинского века // *Синдаловский Н.А.* Мифология Петербурга: очерки.
- 24 *Синявский А.Д.* Прогулки с Пушкиным // URL: <https://libking.ru/books/sci-/sci-philology/469451-andrey-sinyavskiy-progulki-s-pushkinym>.
- 25 *Солженицын А.И.* ...Колблет твой треножник // *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1995–1997. Т. 3. 1997.
- 26 *Толстой И.* Ненужный Пушкин. История одного письма Владислава Ходасевича // URL: <http://xn--ww-mnc.hodasevich.su/about/nenuzhnyi-pushkin.html>.
- 27 *Ходасевич Вл.* Колблемый треножник // URL: http://az.lib.ru/h/hodasevich_w_f/text_0118.shtml.
- 28 *Ходасевич Вл.* О пушкинизме // Возрождение. Париж. 1932, 27 декабря. № 2767.

- 29 *Шеметова Т.Г.* Биографический миф о Пушкине в русской литературе советского и постсоветского периодов. Автореферат диссертации // URL: <http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a83.php>.